

Евгения Баранова

Зеленый
отсчет

ПОЭЗИЯ

Евгения Баранова
1987



Вместо предисловия

“Не только надрыв переживаешь..., но и счастье безграничной свободы, нескованности даже инстинктом жить”

Соломон Воложин,
литературный критик,
Иерусалим



Евгения Баранова
ТЕКСТЫ

Евангелие от меня

Блажен лишь тот, кто умер на рассвете.
Недосказав,
 не раздарив,
 ушел.

Не дожидаясь сутолоки сплетен,
себя запрятал в цинковый чехол.

Блажен лишь тот,
 кто душу наизнанку -
до алой краски! -
 вывернуть не смог
и, не пытаясь взять с разбега планку,
поглаживает ласковый курок...

Но есть одна порода человечья,
бездонная,
 как темная луна.

Всеи сердцевины тяжкие увечья
вываривает кровью в письмамена.
По трассам,
 щедро
 вымогательным рифмой,
пройдет потомков
 торопливый взвод...

Кто ради Песни побывал убитым —
 Бессмертен тот.

Ноябрь в разрезе

Жаль, что теперь не носят перчаток.
Если б носили - я б не надела.
Губы и щеки!

Лови отпечаток
словно автограф
моих беспределов.

Шляпы,
пальто,
сапоги и манжеты
в осень текут запоздалой струей.

Войско улыбок
без счета и нетто
я поведу за собой.

Вывески спрятали в мягкое слоги,
А у мужчин —
подбородками шерсть.

Я же — разумный, довольный, двуногий.
Вряд ли такой еще где-нибудь есть!

Екклесиаст

Когда-нибудь я все-таки умру.
И буду пахнуть мокнущей рогожей.
И будут пить. И будет на ветру
потрескивать разохшаяся кожа.

И будет день. И вылинявший снег
забьет родне ушные перепонки.
И скорбь, ненастоящая, как смех,
залется перекормленной болонкой.

И будет ночь. Подгнившие цветы.
Шершавый крест. Украденная водка.
Архангелы поднимут понятых
и занесут в предпраздничные сводки

все тридцать с лишним пролитых грехов,
все девять штук нетронутых бессмертий.
Я стану местом встреч и пикников.
глотком земли и памятью в конверте.

Панель

Вечер. Морось. Едкий натр
заползает через ноздри.
Недокуренная «Ватра»
как растоптанные звезды.

Под глазами черный иней.
Недочерченные мелом,
два десятка сухожилий —
то, что раньше было телом.

Два десятка ожиданий,
неоправданных, как смелость.
Два десятка умираний:
Так кололось! Так хотелось!

Два десятка. Чья-то ощупь
каждый вечер, каждый вечер.
Стеариновая площадь.
Электрические свечи.

Питерское

Здравствуй, Питер!
Гранит в кефире!

мостовые
в узорах шин!

Здравствуй, сердце!
— глаза пошире —
расстучалось:
удар — нажим.

В перепутьях
заливов-финок,
в перекрестках
фонтанных струй
долгожданный веду поединок
за единственный поцелуй
Белой Ночи.

Прозрачность линий,
колоннады,
дворцы,
шуты.

В Петропавловском равелине
не истерлись
еще
следы

Таракановой...
Будто шкура,
воздух выдублен
влагой,
солью.

И в ладонях,
глазах,
фигурах —

утонченное малокровье.

Петербург!

Забирай румянец!

Поделись

вековым покоем.

Твоих улиц

жемчужный глянец

нарекаю своей судьбою.

Россия!

Раскатное «Эр».

Как Родина или Расплата.

Как мало

прозрений и вер!

Как много

за веру — распятых!

Россия!

На шею — петля!

С разбега — на ржавые колья!

Любя, ненавидя, горя,

захлебываюсь тобою.

Арена

В голове моей кто-то бродит.
Может, пиво. А может — Бродский.
До привычности май юродив,
до привычности шутки плоски.

Не подать ли себя на ужин?
Угощайтесь! Берите-нате!
Перламутровый снег жемчужин
извалять по губной помаде!

Мне не больно. Меня — купили.
Не стеснясь, почти взаимно.
Я — паяц! Сердцевина в мыле.
Только ей за меня и стыдно

Море — без меры! Море — без грани!
Вне геометрии острых углов!
Пена у рта. Пенопластом изранен
голового пляжа костистый остов.

Море — без мели. Море — без моли
тел, пересыпанных влажным песком.
Море с разбега ныряет на волю,
Море соленым дрожит языком.

Море — без жира! Море — без жара!
Вне постоянства временных гирь!
Ты обнимаешь - будто гитару.
Я изучаю - будто Псалтырь.

Уходишь.
Опять.
Насовсем.
В прощаниях — мало толку.
Тем более
боли и тем
у нас еще хватит надолго.
Прощаешь
и просишь простить?
Ну, это уж вовсе мелко!
Меня невозможно разбить,
как глянцевую тарелку
из фарфора или фаянса.
А кто из нас будет спиваться
немного спустя
увидим.
Друг друга слегка ненавидя,
Роднее,
чем родные сестры:
— Good Bye, господин Калиостро.
— Прощайте, Madame Кармен.

Он твердо знал.
И шел в другую сторону.

Он твердо знал.
И солнце встало с Севера.

Его следы
расклёвывали вороны.

Он твердо знал.
Поэтому не верили.

Выздоровливаю.

Я не нужна, как двухрублевый кофе,
как матерное слово в букваре.
Твой одинаковый медальный профиль
равноспокоен, будто на земле

меня и не было. Ты до меня не вырос!
Гортань скрипит от выпитого, но
все то, что плавило, болело, билось,
очеловечено, убито, учтено.

Я выдержу. Зря просишься наружу,
дрожащая расплаканная тварь.
Я выдержу, дотла обезоружив
обиды плесневевший сухарь.

Я выдержу!
...Белеет полотенце.
И чайник замерзает на плите.
Я не нужна, как вынутое сердце,
как ржавчина на вытертом холсте.

Примитива I

Двое.
Идут.
В районе — надцати.
Он — «я — гений!»
Она — «умрем?»
Дождь,
как врач
перед ампутацией,
не оставляет Их вдвоем.

Время дрожит,
в перехлесте крошева,
нервно выкуривает Ее.
Время — простое,
совсем хорошее,
старое, как
Франсуа Вийон.

Он — продолжает,
Она — не слушает.
Времени стыдно за всех троих.

Дождь оплетает кольцом, как кружевом,
Дождь бесконечен,
как тетраптих.

Он — о Петрарке, сонетах, дактиле.

А для нее —
и себя-то много!

Мальчик
с упрямым
лицом
птеродактиля.

Девочка
с сердцем
убитого
Бога.

Похороны рассвета

Рассвета не будет!
Он больше не нужен.
Ни людям, ни солнцу.
Тем более — мне.
Рассвета не будет!
Он слишком простужен,
он слишком свободен,
он времени вне.

Не ждите! Не кайтесь!
Вся кровь была мимо.
Порезы засохли—
утришь рукавом!
По стеклам, по веснам,
по краешку дыма
рассвет не вернется.
Рассвет не вернем.

Он был безупречен,
как морда трамвая.
Он был бесконечен,
как ветка метро.
Его не хотели,
его не узнали.
А если узнали—
то что-то не то.

Рассвета не будет!
И наглухо шторы.
Запомните дети,
он все-таки был.

Он — в пульсе, он — в песне,
в костре светофора,
и, может быть, в банке
червонных чернил.

Не-Гойя

Мне больно!
Я — поле.
Тугой колеей
разрезана в клочья.
Я — воля!
Я — вой!
Мне — больно.
Я — водка
на стывших устах.
— Безвременье...
— Вот как?
И даже не страх,
а что-то похоже
на бег по кривой.
Я даже не Гойя.
Я просто Изгой

Вечер — как яблоко:
пахнет железом.
Улицы-черви прорыли ходами.
Вечер — без дна,
как зрачковая бездна.
Окна желтеют раскрытыми ртами.

Вечер — осколком.
Пивные бутылки.
Губы, как пряжа, измяты и тонки.
Вечер, упавший дождем по затылку,
ты не дождешься моей «похоронки»!

Я — в середине.
Снаружи и возле
март пробивается в пухлые стены.
Нет,
 мне не страшно.
Ни дальше, ни после.
Кожу пробили влюбленные вены.

«Лю —
и мазутом заправлены печи.
блю» —
разбегаемся мимо ступеней.
Вечер,
огромный,
раскатанный вечер
плакал и бился
у нас на коленях.

О чем молчал ветер

Кожу вскрыли
вены-крылья.

Про-
Глядели!

Про-
Пустили!
Кожу вскрыли
вены-дали.

Рас-
Смотрели!

Рас-
Теряли!
— Тот ли?
— Та ли?
— Да ли?
— Нет ли?

Полночь на пол,
как монета.

И в осколки.

Бьется ветром:
«Кто чья жертва?»
«Кто чья жертва?»

Николаю Гумилеву

Здесь холодно. И бреющий полет
день начинает только с середины.
Весна, ладошки вымазав о лед,
тихонько плачет. Сгорбленную спину

пророчат лампа, кресло и тетрадь...
А где-то, в глубине седых Америк,
жизнь повернулась и бежала вспять,
в свою обыкновенность не поверив.

Там пили грог, жевали сухари,
кормой зубрили кряжистые фьорды.
И неба не хватало до земли,
и солнце улыбалось даже мертвым.

А после, с кастаньетами, в трико,
жизнь пробиралась в пьяные таверны.
И расступались залежи веков
перед цыганским всполохом неверным.

Ну, затем.... Закончились листы,
сгорела лампа, рукопись намокла...
Жизнь распрощалась залпом холостых.
Состарилась. Задумалась. Поблёлка.

Определения грозы

Ни разу
для глаза
гроза
не казалась больной.
Такой бархатистой!
Такой предугадано-жданной!
На плечи
навстречу
легла
водопадом теней
одна
бесконечная
тонкая
млечная
рана.
Так, видимо, Ной
ощущает сверхновый потоп.
Промытые окна
собой заменили созвездья.
Пусть пОтом
потОм
высыхает асфальт,
но зато
Возмездие,
Воля,
Вода
и еще раз — Возмездье.

Стамбул.
Гарем.
Четырнадцатый век.
Рахат-лукум навязывают деснам.
Подростки
среди евнухов и нег
меняют одинаковые весны.

Ресницы, подведенные чертой.
Шальвары прикрывают голенастость.
Султан, отяжелевший и седой,
по капле вырабатывает страстность.

Одна в одну!
Жестяные слова
опять зовут — в постель или обедать.
А день застыл.
И катится едва.
Как шарик вероналового бреда

Когда солнце полнит живот,
когда тени плетут заплаты,
я одна, как один завод,
выпускающий экскаватор.

Когда утро морщинит лоб
и синоптик погоде верит,
я одна, как один микроб,
недобитый раствором «Сейвгарт».

Я одна. За стеной - стена.
Я одна. За луною - луны.
Одиночество - лишь цена,
по которой скупают струны.

Б.Л.П.

Я в загоне.
Выхода не вижу.
Всюду ложь, предательство и ночь.
Тротуар, троллейбусы и крыши.
Господи, пожалуйста, отсрочь!

Тишина как опухоль.
На совесть
скроен отчуждения бетон.
Господи, в молчании освоюсь,
проору светильникам икон:

« Помогите! Ближний или дальний!
Я горю. По собственной вине.
Господи, пожалуйста, не дай мне!
Господи,
пожалуйста,
не мне! »

Пушкиниада

(по поводу сбрасывания с парохода современности)

Пушкин?

Чугуновый.

Пахнет резиной.

Вытертый френч благовидности для.

Пушкин— звенящая сердцелавина,

рифмы мусоля и Бога творя,

вылилась в небо.

Хрустальная млечность!

Слова соленого русская медь!

Пушкин!

По праву положена вечность.

Вы не имеете права —

стареть.

Были б моложе на пару столетий,

пили бы вместе,

носили джинсы..

Может, в Лох-Нессе ловили бы Нетти.

Может быть,

шлялись в Булонском лесу.

Пушкин.

Держите!

—Мои манифесты.

Первую подпись поставите там!

Пушкин, я вас вызываю повесткой.

Место в каюте найдется и вам.

Нокаут

Левой-правой!
Угол сцены.
Современный Дон-Кихот.
Больно так,
 что слезы-вены
проступают через пот.

Левой-правой!
Угол ринга.
Бьют наотмашь и в живот.
Больно так,
 что слез не видно.
Выдох - выдох - апперкот.

Левой-правой!
Угол бара.
Взгляд задумчивый и злой.
Больно так,
 что слез не стало.
Они умерли.
Со мной.

Любови. Любочки. Любятя

Вы все останетесь.

 Так лапы динозавра
свой отпечаток оставляют в иле.

Вы все останетесь.

 И после послезавтра
расскажите, как ели-пели-пили.

Вы все припомните:

 что рифмы слабоваты,
что целовалась - в общем-то - не очень.

Мои любви,

 любочки,

 любятя!

Я вас прощаю

 - слышите?-

 заочно.

Ну что вы мне?

 Курганы после Трои!

А я для вас - нескучным мемуаром.

И каждый третий,

 вымысел утроив,

не поперхнется скромным гонораром.

Вы все останетесь.

 Единственная просьба:

не растирайте сопли вместо мыла!

Мы - не сошлись.

 Мы - разные.

 Мы - врозь. Но

я все-таки когда-то вас любила.

Богема

Утонуть в простынях!
Скрыться крысой в чуланчике!
Притворится кузнечиком,
злым и невкусным.
Где-то там далеко
есть манерные мальчики.
Они курят L&M и грассируют русским.

Я покрылась теплом,
как «Титаник» Атлантикой,
я похожа на всех,
в том числе на ландшафт.
Где-то там далеко
губы комкают бантиком
артистичные девочки с сердцем мышат.

Я терплю молоко,
я пытаюсь не вырасти
из привычного круга,
привычного льда.
Где-то там далеко
пахнет тленом и сыростью.
Как мне сытно - теперь.
Как мне нужно - туда.

Ярославу Минкину,
другу и поэту

Не взрослею,
не живу,
не старюсь.
Как тюльпан вырастает в перегонной,
я вырастаю в память, расставаясь
с жизнью - заурядной, но земной.

Как Печорин,
вычурен и лишен,
не влезаю в века окоем.
Но зато когда-нибудь услышат
мое время в имени моем.

Но зато какой-нибудь подросток
вместо среднесуточных Мальвин
влюбится застенчиво и просто
в рифмы незатейливый сатин.

И тогда,
из каменных удуший,
волей волю и суетой сует,
Я вернусь,
как возвращают души,
как пшеница возвращает хлеб.

Аэропортрет

Ловлю губами самолет.
Он полетел бомбить Багдад.
И сверху лед, и снизу лед,
и небо, синее, как яд.

Ловлю губами дыма ком,
чужой и круглый, как "Прости".
И губ твоих аэродром,
и стрелок сбитые шасси.

Ловлю-гублю. Таблеток звон.
А у тебя, наверно, грипп.
И тишина, и телефон
уже до ниточки охрип.

Ловлю-гублю.
Дарю-горю.
Табло заклинивает рейс.
— Алло!
Ты, видимо, в раю,
поскольку ад ночует здесь.

Мама или отсутствие смысла

Мама, послушай.

—Только не бойся!—

Жизнь — это просто

пробковый шар.

Сдача в ладонях бога-пропойцы.

Сбитый на вылет мальчик Икар.

Мама, послушай!

Жизнь — это каша.

Общелягушечий жирный бульон.

Можно — по ветру,

как стаи ромашек,

Можно — плестись:

за вагоном — вагон.

Можно —

нырять с этажей и балконов.

Можно —

дожить до детей и седин.

Жизнь —

это только

коробка

патронов.

Выхода нет.

То есть выход — один.

Занавес

Вот и все.

Я превращаюсь в дождь.

На лице сиянье серых капель.

Вот и все.

Ты больше не уйдешь,

кто б из нас ненастьями не запил.

Вот и все.

Хрусталики минут.

Алых парусов косые хлопья.

Вот и все.

Нас больше не найдут

расстояний каменные копья.

Вот и все.

Пылятся под стеклом

крылья,

замененные обновой...

Вот и все.

Но сколько тысяч тонн

в голове

моей

пустоголовой?!

Истерика

Луна заплакала.
Сначала очень тихо.
Потом как рыжий, брошенный ребенок.
Луна скулила, будто бы волчиха,
а я к ней прижималась, как волчонок.

...И пахло потом,
 патокой,
 пещерой,
амфетамином в рамках передоза.
Луна двоилась,
 плавала,
 редела.
Редели знаки, признаки и позы.

Луна лгала!
И я лгала за нею.
Имела уши, чтобы не услышать.
А время шло — и становилось злее,
А время шло — и становилось тише.

Недостих

Недолет. Недострел.
Недобег. Недошаг.
Кто умел — не успел,
остальные — дрожат.

Недосмех. Недострасть
по белесым губам.
Кто пытался не пасть —
предавали гробам.

Недодом. Недодым.
Без тепла. Без огня.
Поменяюсь с любимым,
распродавшим меня!

Недоболь. Недовой.
Не крестом, а мечом.
Поменяюсь с любой,
кто ко мне не при чем!

По оскаленным ртам!
По осколкам комет!
Я живу только там,
где меня уже нет.

Нежность и немного вокзала

Куда ни глянь — промокли насквозь.
На елках белые бинты.
Растекший снег, как будто пластырь
на теле ранней темноты.

Опять вагон.

— Смотри, он дышит!

Совсем как ящер, но — живой.—

Я притворяюсь,

я не слышу,

что на часах уже домой.

Я притворяюсь,

превращаюсь

в проектор собственного «я».

Под каблуком скрипит,

меняясь,

тупая рыхлая земля.

Земля, зачем?

— Прости.

— Прощаю.

Уже звонков последний звон.

И снова лед,

и стаи чаек,

И одиночества перрон.

Бог сохраняет все. Особенно слова
Иосиф Бродский

Лист тянется к земле под тяжестью родства,
За пятнами Голгоф припрятано бессилье.
Бог сохраняет все. Особенно слова.
Особенно слова, которых не просили.

От кружева арен кружится голова.
Но бабочка летит. — Светло самоубийце!
Бог сохраняет все. Особенно слова.
Особенно слова, успевшие разбиться.

От вымыслов друзей оправившись едва,
Восходишь на костер — и падаешь все выше.
Бог сохраняет всё. Особенно слова.
Особенно слова, которых не услышат.

Опять Январь.

Но пахнет бузиной.

Мне все равны, а ты —

всего равнее.

мне говорили,

ты теперь с другой,

мне говорили,

ты теперь умнее.

Мне говорили...

— Тот же телефон,

такие же простуженные стены.

И голос твой не больше мне знаком,

чем девушке компьютерные схемы.

Все это так.

Но где-то,

в глубине,

сквозь рифмой предусмотренные войны,

неужто ты не помнишь обо мне?!

И неужели

я тебя

не помню?!

Поезд в прорезь
глаз и окон
бьется ветром,
как ракеткой.
Устаканясь,
успокоясь,
Я стабильна,
как насадка.

Я спокойна,
как покойник,
как сбежавшее какао.
Стекла.
Звезды.
Подоконник.
Сигареты.
«Кюрасао».

Я спокойна!
— Слева-справа
отдираю счастья клещи.
Впереди — чужая слава.
По бокам — чужие вещи.

Отодрала.
Сердца тара
расколосась на куски.
Поезд с запахом соляры.
Поезд с запахом тоски.

Утро утроит печаль или счет,
Вечер увечен и пахнет печеньем.
Дай же мне Господи что-то еще
кроме себя и своих ощущений.

Дай мне еще один полдень и день,
Ангела дай, чтоб лететь в одиночку.
В каждом плетене заложена тень,
в каждом тире предусмотрена точка.

Каждому дереву снится топор,
Каждая лодка отыщет причалы.
Дай мне дожить до каких-нибудь пор,
Дай мне сказать, что еще не сказала.

Д.Д.

Пол.
Потолок.
Недобитая лампочка.
Ты так красив, что похож на вредителя.
Я на полу.
В фиолетовых тапочках.
Думаю рифмами — и о родителях.

Снова простыла.
Как дура.
Пока еще

не ощущаю свободы сознания.
Чувствую только

медлеющий,
тающий
пульс
как сигнал моего выживания.

Я тебя лю.
Ты же знаешь.
Баюкая,
я не могу,
хоть манера несложная.
Милый-любимый!
Спаси-меня-глупую,
я буду очень и очень хорошею.

Как всякий выбор бессоюзен,
бессмысленен — и вопреки.
Перерубая новый узел,
лишь затупляются клинки.

Как всякий выбор беззащитен
перед узором щек и глаз.
И, троекратный победитель,
я проиграла в третий раз.

Как всякий выбор — неразлучен.
Как вдохновенье и тетрадь.
Я продолжаю — мучась — мучить
и продолжаю — продолжать.

Иуда-изм

Предательство.
Предали.
Передали.
Пустили по завистливым рукам.
Вы слышите?
Так звякают медали
с мундира неживого старика.

Я не одна!
Я в середине стаи.
Как в черепе Олегова коня!
Хоть бы один пытался — не ударить!
Хоть бы один пытался — не меня!

Предательство.
 Вы слышите?
 Не бойтесь!
Как на миру цена была красна!
Я ухожу.
Заканчивая повесть,
я зачеркнула
ваша
имена.

Крысолов

М.П.-Р

Такие не живут!

С таким лицом
идут на плаху — или же в больницу.
И умер мир.
И кончилось кольцо.
И солью покрываются ресницы.

Такие не живут!

Таких — нельзя!
Как дудочка в ладонях Крысолова,
я падаю,
мучительно скользя,
не знаю вдохновения иного,
чем то,
которым потчевал,
а я
опять перехожу на старорусский.
Любить тебя.
— О как любить тебя! —
есть высшая обязанность искусства.

Исход

Нас забудут, кукушка...
Ярослав Минкин

Нас забудут, кукушка.
Я это мучительно знаю.
Нас забудут, кукушка.
— Таких забывали не раз.
И, пустив наши головы,
будто ромашки по маю,
Жизнь споткнется крестом
и застынет безмолвием фраз.
Нас забудут, кукушка!
Листая страницы, как листья,
кто-то новый пойдет
в Ледниковый ненужный поход.
И безумий его
безнадежно багровые кисти
отцветут и погаснут
в предложенный вечностью год
Нас оденут землей.
Нашим именем не назовутся
пароходы,
бульвары
и прочие долгие дни.
«Нас забудут, кукушка!»,
но времени битые блюда
невозможно, нельзя,
бесполезно уже заменить.

Любовь к богатым

Интересно,
в каких единицах
вы меряете успех?
В гробницах
влюбленных женщин?
в улыбках?
в других и в тех?

Интересно,
какой кормежкой
вы кормите ваших псов?
Засов на груди — как ножны.
Засов — он и есть засов.

Интересно,
когда потомство
возьмет и скажет:
— Еще!
вы кашею скопидомства
подавитесь,
за плечо
оглядываясь на вашу,
простую, как
простокваша,
такую чужую,
такую ненужную
жизнь?!

Нежность и ненависть — сей союз
как доблесть и девственность! — неделимы.
Я ненавижу.

Уже не тщусь
разненавидеть тебя, любимый.

«Я ненавижу» — в одну строфу.
Или — в любовное многостишие.
Я ненавижу,
жую,
живу,
каждой секунде считаясь лишней.

Нежность и ненависть:
алым ртом
Душу хлебал.
— Умерла, как Припять!
Я ненавижу
— Вот вам! —
за то,
что мне уже некого ненавидеть.

Коллекционер: коллекция мер,
коллекция нервов — чтоб не было рваных! —
коллекция Любочек, Надечек, Вер
и даже кого-нибудь из иностранных.

Коллекция-да! Коллекция-нет!
Коллекция — родинок, бюстов, морщинок.
Вы думали, буду одной из монет?
Одной из бесчисленно-равно-витринных?

Вы думали — буду.
Коллекция скверн
пополнится вами, как Гитлером ставка.
Коллекционер: коллекция эр.
Вы мой экспонат.
— Распишитесь в доставке!

Гроза!

Мужик — перекрестится.
С неба — грянуло.
Гранулы солнца застыли, остыв.
Август бежит разухабью цыгановой
и не захватишь его под уздцы.

Август бежит — перепуганный, ливневый.
Палевом пахнут земля и жилье.
Небу обещано страсти без выбоин.
небо само забирает свое.

Гром как морг!
И тучи — гУстятся.
Пахнет смолью и смолой.
Есть гроза — и есть распутица.
Остальное — перебой.

Сколько гроз!
Причин опричнина
чешет солнце на пробор.
Это — Грозный.
Это — личное.
Остальное — договор.

Так ареной веру правили.
Так в ресницах ток течет.
Это — право.
Это — правило.
Остальное — недочет.

Демократия

Давайте строить глобальный рай:
вместо алмазов — накормим стеклами.
И будет Ева.
И будет Кай.
Проснемся умненькими животными!

И будет небо — конечно, семь.
И будет счастье — косить-не-выкосить.
И дольше века продлится день,
Так — что его не успеют выносить.

И будет корма — хоть завались,
И будет водки — до белой тошноты.
Давайте Шарику строить жизнь!
Подайте Шарику невозможности!

Аутодафе

Я сделала глупость.
За глупости платят.
Желательно — в сердце.
Желательно — пулей.
Так требовал казни Шестнадцатый Капет.
Ему обещали и не обманули.
Но вряд ли поймет он,
забытый,
кружавный,
моей гильотины, моих робеспьеров.
— Как жарко!

Как жалко картин и диванов...
А я себя чувствую новеньким сквером,
в который забыли поставить деревья.
Одна обнаженная теплая почва.
Я сделала глупость — и я индевею
от веса ударов,
простых и заочных.

Я сам себе Данте!
Единообразье
кругов и кружочков.
— Миры и минуты!
Я сделала глупость.
Я требую казни.
Ну, где же налитая вами цыкута?

Марш победителя

...А лица деревьев казались бритыми.
Я шла в одиночку, расправив Авеля.
Победа краснела своими битвами,
которые мы за собой оставили.

Я шла в одиночку.
Карманный памятник
ужасно гордился своим величием.
И падало — небо, и звезды — камедью
стекали в асфальтное безразличие.

Я шла —
тишиной,
босиком,
бульварами.
Считала осины своими кольями.
С какой бы я радостью проиграла вам,
когда бы вы это
— хоть раз! —
позволили.

Лимоновая лирика

Лимоны!- ЛИ.
Лимоны!- МО.
А где-то
Гана, Лима, Персия.
В кармане денег на лимон,
а хочется —
десяток персиков.

Лимоны — в.
Лимоны — на.
От кислоты — хоть вой, хоть вешайся.
Любви лимонная страна
распродает последних беженцев.

Лимоны — под.
Лимоны — над.
Кислы слова — твоею помощью.
Я так ждала,
 что ты луна.
А ты желтел
обычным
овощем.

Поэтохроника

Д.Д.

И тон был резок, и вечер — резкий.
Оба охрипшие — тот и другой.
Путались звезды, как занавески,
падая в окна живой водой.

Вы говорили:

пора расстаться.

Суп — пересолен,

слова — горьки.

Перечисляли,

как строчки в святцах

пробы, погрешности и грехи.

Вы говорили что-то про Таллинн,

Про колокольчики и пути.

И тон был резок,

и взгляд раздавлен,

и мне хотелось от вас уйти.

Позже,

на «я» вспоминая певицу,

губы скользили,

как замш в снегу.

Я вытирала ваши ресницы

и на «люблю» отвечала «угу»

Философия Дзен

Жизнь превращается в тесный клубок
сплетений и сплетен,
души и душа.

Солнце пытается плыть на восток,
реки пытаются плыть — на сушу.

Я — остальная.

Так же, как все.

Так же, как прочие — неповторима.

Ягод хотелось упрямой лисе
не больше, не меньше,
а просто
мимо.

Какая мне разница,
где табурет,
а где хозяин —

его и жизни?!

О смерти одних узнают из газет.

О смерти других узнают из писем.

Повторение пройденного

Твои строчки делают больно,
только это теперь до фени.
Так, наверно, плевал на Смольный
разухабившийся Есенин.

Ты давно совершеннолетний,
Мне давно совершенно зимне.
Мой июль не размоют сплетни.
Мой июль не погасят ливни.

И никто
 никуда
 не годен.
Не растравлен, не обескожен.
Каждой пуле положен орден,
за того, кто ее стреножил.

Я курю в темноте, как Бродский,
и *вдыхаю гнилье отлива*.
Да,
 со временем
 мне придется,
научиться прощать —
 красиво.

Давай мы простимся сейчас.
Пока еще вечер случаен
и пахнет не счастьем, а чаем.
Давай мы простимся сейчас.

Ты выйдешь меня проводить.
Простой и совсем необутый.
Рассыплются взгляды-минуты.
Ты выйдешь меня проводить.

Пожалуйста, помни меня.
Таких еще здесь не бывало.
Закончится повесть началом.
Пожалуйста, помни меня.

Я больше сюда не вернусь.
Под бронхами клетот вороний.
Здесь воздух веснян и любовен.
Я.
Больше.
Сюда.
Не вернусь.

**Наличие дома нужней,
чтоб туда не писать.**

И улицы липнут, как пух на губах Птицелова.
Ты только молчи, если будут меня убивать.
Наличие Смерти
дороже
наличия
Слова.

Кто раньше стрелялся — в себя продолжает
стрелять.
Кто брал твой почтовый,
тебе безразличен,
как паспорт.
У времени наста
есть ценное свойство — «опять».
Все прочие свойства работают только по
красным.

И улицы — липнут.
И город похож на коня.
От этого кофе во рту непроглядная вьюга.
Пожалуйста, люди, не больно убейте меня.
Наличие Смерти
скорее
наличия
Друга.

Вода — пришла.
Вода — предвиделась.
Водой лечили корабли.
Мы создаем друг другу видимость.
Мы создаем друг друга и

себя пытаемся разламывать
водой и водкой пополам.
Послушай, вряд ли
нужно заново
учить неправильным словам...

От недосыпа недочувствами
не то болеть, не то жалеть.
Мы притворяемся моллюсками,
которые умеют петь.

Мы притворяемся гитарами
— лады затерты до дыры —
«Я вас любил!»,
но это — старое.
Я выбываю из игры.

Октябрь,
ты выглядишь старым и стыдным.
Как я ненавижу твои голоса!
Октябрь,
тебя за туманом — не видно.
Ты только и можешь бузить за глаза.

Ты только и можешь.
Так только и можно.
Остался будильник и чайк конвой.
Прошло твоё время чудес неотложных.
Прошло моё время — недлинной строкой.

Прошло.
 Проскользило.
 Лишило одежды.
Цедило по капле.
 Клялось на крови.
— Ты можешь назвать нашу дочку Надеждой,
но только Любовью её не зови.

Никогда не поймешь:
а который — не предал?

Никогда не поймешь:
а который — не спит?

Провожая мечту по последнему следу,
не забудьте в аптеке купить цианид.

Провожая мечту
— до калитки и выше—

не забудьте промокнуть —
и дать на такси.

Ведь на то и мечта,
чтобы правды не слышать,
ведь на то и мечта,
чтоб ее упустить.

Провожая мечту.
По последнему следу.
По дождям-тротуарам.
Столетье и час.

Никогда не поймешь:
а который — не предал?

Никогда не поймешь:
а который — не спас?

Мертвыми ладонями не выхлебать реки,
мертвыми губами не расскажешь эпилог.
Маленькие-маленькие люди-островки
просят океан не заходить через порог.

Просят не выдумывать —
и вежливо на чай.

Крестятся-невестятся.
Клюют через плечо.
Маленькая-маленькая глупая печаль
смотрит недоверчиво и спорит что почём.

Кто кого не понял —
тот того и не простил.

Кто кого выдумывал —
да тот тому и бог.

Зареву-завыревусь,
чтоб не хватило сил,
только бы побегом не изматывался срок.

Только бы в петлю мешали волосы пролезть,
только бы истерика не встала на курок.

Мертвое животное не оцетинит шерсть,
мертвыми ладонями не выпутать клубок.

Упрямый герой продолжал позапрошлые
игры.

На счет 19 пытался остаться без кожи.

И каждый прохожий
протягивал взгляды как иглы,

И каждый прохожий
протягивал губы как ножны.

И каждый прохожий:

и встречный, и диагональный —

считал себя выше, умнее и много успешней.

Герой удивлялся наличию Хлеба — и спальни.

Герой удивлялся наличию Неба — и песни.

Герой удивлялся.

И всё умножал удивленья.

И кто-то заметил, что *эта протянет недолго.*

Из глупых героев эпохами варят варенье.

Без глупых героев бессмысленная даже
иголка.

Станция: осень-зима.

Станция: демисезон.

Вечер. Ладони. Луна.

Вечер. Ладони. Газон.

Никто.
Никуда.
Не делся.
Подмости все те же.
Те же.
Я всё продолжаю бегство
по красному льду манежа.

Призывно стучу копытом.
Глаза раскрываю — шире.
Пустите меня на выход.
«Пустите меня!»
— Пустили.

Пустили —
 и воздух мятный,
Пустили —
 и ветер свеж...
Возьмите меня
 — обратно!
Верните меня
 — в манеж!

Парфюмер

Здесь всё притворяется мнимым,
здесь всё притворяется мной.
Жизнь пахнет деревней и дымом,
Жизнь пахнет бульваром и хной.

Здесь каждый навеки случаен,
Здесь каждого бьют напрокат.
Жизнь пахнет свечами и чаем.
Здесь ждут, и живут, и гостят.

Жизнь пахнет....

 Да чем не спросили б!
У каждого свойский уют.
Без запаха только Мессия,
которого здесь — продают.

И кого мне теперь вспоминать?
Не спросили меня, не спасти ли.
Не спросили,
когда на кровать
твои руки другую вносили.

Не спросили,
когда признавал.
Хотя в принципе может быть хуже.
Ты не поезд. — И я не вокзал,
чтобы ждать не-прихода на ужин.

Бог устал — и у Бога дела.
Ночь света, как пролитое масло.
Ухожу, оставляя слова,
заменяя столовое красным.

Как много лирики!
Как странно
читать ее, когда простишься.
И слушать музыку дивана,
скупее, чем
церковной мышью
съедать остаток сожалений...
Как много лирики!
Из лени
любовь рождается,
из скуки.
А после надоеда Врубель
её рисует в исступленьи.
Как много лирики!
Я — гений?
О нет,
тот гений,
кто заставит
сквозь слабость «быть»
и сладость «править»
звучать бубенчик колокольной.
Как много лирики!
Как...
больно...

Разговор со смертью

Лужи.
Ветер.
Снова лужи.
Никого.
У смерти насморк.
У нее промокли уши.
У нее украли паспорт.
Смерть молчит,
 до слез ревнуя.
Прячет мерзлую макушку.

— Слушай, смерть, а может ну их....
 Выпьем с горя.
 Как там Пушкин?

Как там Лермонтов — и Бродский?
Что Некрасов?
Всё играет?
Матч «Есенин-Маяковский»
неужели продолжают?

...Смерть задумалась,
 кокеткой
примостилась на груди.
И сказала:
— Знаешь,
 детка,
 ДОЖИВИ ДО ДВАДЦАТИ.

Моя вечность живет в разговорах,
на заборах,
исписанных русским,
на укусах
собак и соседей...

Ты не бойся, родная, доедем!

Ты не бойся,
используя уксус,
можно смыть заржавелость с доспехов.
Словари 20-энного века
нам подарят пластмассовый кубок

—Моя вечность в потоке маршруток!

Моя вечность...
Под столбиком пыли,
в волосах,
голосах
и простудах....

Моя вечность!
Тебя не любили!
Моя вечность!
Тебя не забудут!

А рукопись горит.
Или — «горят».
Не кислород и даже не минуты.
Любое слово —
 пойманный снаряд,
отправленный далекому кому-то.

А если не горит,
 то, значит, брак!
Восстановить по вольному замесу!
Не рукопись —
 расправленный кулак.
Не рукопись —
 соломенная пьеса,

в которую играет уголек.

Из олова, из стали —
 всё солдаты.

У истины не измеряют срок.
Для истины не выбирают даты.



Поэмы и циклы

Евгения Баранова

Четыре не-меня

Тень первая

(Солдат)

Лежим. Не курим. Время перебежек,
До темноты — и перед лобовой.
Глотаем жизнь размеренней и реже,
как воздух, перемешанный с землей.

Кулак зажат предчувствием винтовки.
— Ребята в бой! Вся родина за нас!
А вдоль дорог — испуганные волки,
А за спиной — единственный приказ.

Я побежал. Короче перестрелки.
Лицом в траву — пшеница в волосах.
Удар. Удар. Двенадцатые стрелки
считает смерть на сломанных часах

Тень вторая

(«В баре Фоли-Бержер»)

За далью — даль. За ночью — ночи.
Предрешена
Среди минут и многоточий
Одна.

У зверя — зверь. У птицы — птица.
Давать не брать!
Ни выплакать, ни возвратиться.
Опять.

Линяет день. Линяют лица.
Ступеньки вниз.
И предлагает оступиться
карниз.

Тень третья

(В церкви)

Голову с разбега об холодный пол!
Оплывают воском, плавятся иконы.
Сердце, ненасытный недобитый вол,
что опять любовной давишься соломой?

Дура! Черной Речкой по ресницам грусть,
на ладонях брызги пленного заката.
Он сказал три слова: «Больше не вернусь»
Он сказал три слова: «Ты не виновата»

Вдребезги по крышам солнечная ртуть,
вдребезги ногтями о хрустящий кафель.
Он сказал три слова. Больше не вернуть!
И шуршит молчанье парафином капель.

Тень четвертая

(Вечный Жид)

Я не удивляюсь. По коже — смола.
Я не удивляюсь. Затылочный звон.
На брюхе. Ползком. От угла до угла.
Листая страницы чужих похорон.

И если навстречу с разбитой губой,
Я не удивляюсь.— Такой же, как все!
Я голый, я грязный, я глухонемой.
Я мелок, как мел на песчаной косе.

Я сею не то...
И созревшая злость
прогоркла по горлу сухим миндалём.
Убейте меня! Я бессмертен насквозь.
Да будет развеяно имя моё!

апрель-май 2004

«Зуб за зуб!» — посреди развалин.
Неприятно звучит для слуха?
У тебя — оборона — спален.
У меня — оборона — духа.

Я, наверно, других не чище,
но не сдамся ни лжи, ни боли.
У тебя — оборона — пищи.
У меня — оборона — воли.

3.

Распродажа.
Два —
продажа.
Три —
и нас уже купили.
Ты не бойся.
 Это — наши.
Это игры в «или-или».

Ты не бойся!
 Кровь малиной.
Вечный праздник в три патрона.
Или —
 гибкостью змеиной
выбирать спине наклоны.

Шатко-валко.

Взгляд пластмассой.

Не поймали — не убили.

Ты не бойся — это массы.

Это игры в «или-или»

4.

Эх, разлить бы пожар закатом!

Чтоб горела — сгорела! — тля.

Чтобы моли последний атом

в рассыпную летел, горя.

Вместо этого — гладь.

Под гладью

шорох-ворох крысиных царств.

Освященит кровавой свадьбой

государей и государств!

Расплескаться!

Разлить!

Раздвинуть!

Разневестила грудь земля.

Нужно делать пожар — молиный.

Чтоб горела

— сгорела! —

тля.

2005 год, июль-август.

2.

Город будет и был.
Но в памяти
то ли прошлое, то ли пришлое.
Его улицы пахнут камедью,
его женщины пахнут вишнями.

Его лиц ледяная очередь
почему-то пропахла деревом.
Он не стал ни отцом, ни отчимом.
Он не стал ни волной, ни берегом.

Он не стал.
Но своими стансами
я ошпарю ветров созвездия.
Этот город похож на станцию,
до которой уже не ездили.

3.

Ошпаренный ветром,
и чадом,
и чудом,
осмеянный криком —
меня или чаек,
мой город похож на больного верблюда,
несущего лица
и улиц печали.

Мой город похож
на хмельного прораба
такой же промокший,
такой же небритый.
Здесь пара музеев
и местная Рада.
И, кажется,
профиль
наивного Шмидта.

Мой город устал.
И я тоже устану.
Устану,
как пушек потертый лафет.

Такси.
Перекресток.
Сухие каштаны.

Такси.
Перекресток.
Пустые кафе.

4.

Такси.
Перекресток.
— Ни дальше ни ближе.

Огромный,
бездомный,
оранжевый шар.

Стотысячный раз —
перекрестки и крыши,

Стотысячный раз:

— Выходите, вокзал!

Стотысячный раз

под лопатками пусто,
как будто к расстрелу
доставил конвой.

Прощай, Севастополь.

Мне все-таки грустно.

Прости, Севастополь.

Я еду домой.

зима 2004-2005

Телефонограмм

*Телефонные баллады одинаковы.
Я пролистываю память: то ли? так ли?
Всё спасенное похоже на Иакова.
Всё погибшее похоже на спектакль.*

(Вместо эпиграфа)

(переговорный)

Я листаю тебя. Листаю!
Так листают — слова и листья.
Так листают — листья и дали.
Так по снегу походкой лисьей

отпечатывают печали.

— Ты любила меня?
— Едва ли.
— Ты простила меня?
— Не слышу.

Телефонная трубка:
Тише!
Ты не смей выдавать обиды,
Ты не смей говорить...

— ...А Лида
поменяла уже восьмого... (*)

(Ненавижу все это!)

— ...Рома,
а когда ты приедешь к маме?... (**)

— Замолчите!
— Молчите сами!

Посредине гудков и будок,
каблукон,
кошельков,
покупок,
посреди чужеродной пыли
я листаю тебя — навывлет!

(мобильный)

— Почему ты молчишь?
— Так. Просто.
— Ты не хочешь...

(словами льёт.

А внутри - ледяная россыпь:
почему,
почему — её?)

- Почему?
- Я ошибся...
- Хватит!
- Я люблю тебя. Я — твоё.

Тишина.
И по трубке каплет
надоевшее всем враньё.

(домашний)

Перезванивает.

- Простите,
 можно Женю?
- Уже нельзя.

Посреди телефонных нитей
потерялась.

- А если я...
- Перестаньте звонить! Мне больно.

Больно!
Больно!
— А мы могли б...
— Убирайся.
 Я всем довольна.

И короткое:
пиинииииииип!

(послезвоние)

Звонки — закончились.

Стихи — закончатся.

Осталась память

и оди-

ночество.

Осталась память

и ожи-

дание.

— Не надо...

— Надо!

Привычка давняя.

-Не-надо!

-Надо!

привычка древняя!

Единым адом

в едино-

времяе!

Единой нитью

навеки связаны.

Звонки — звоните!

Стихи приказаны!

Примечания.

(*) — голос из кабинки 7.

(**) — голос из кабинки 9.



Проза

Евгения Баранова

Вишневый

Кажется, она любила вишни.

Вот и все.

Нет, постой, был еще запах. Она пахла ванилью и хной.

Каждый отрезок, каждый сантиметр пах. Невозможно ни смыть, ни затереть.

Вишневый.

А потом она ушла.

Нет, имени я не помню. Помню только вкус. И еще цвет. Рыжий, неровный. Говорят, она меняла любовников. Не от слова «любить», а от слова «любиться».

Обыкновенная дрянь. Дрянь.

- О чем ты думаешь? - затягивается.

- О тебе.

- Врешь,- показывает остро заточенные зубы,- о ней ты думаешь.

- О ком?

- О смерти, конечно.

Улыбается.

-Не будь дурой!

Целую. Опять вишни, протабаченные вишни.

Нежность? Ненависть?

Обыкновенный симбиоз. Мне холодно, ей скучно.

Она говорит. Она пьет посредственное пиво.

Она любит вишни.

- Знаешь, я умру первого июля. Я уже знаю, что.

- Зачем?

- Скучно.

Роняет зажигалку. Наклоняется. И вдруг - лицом в мои ладони. Теплые капли. Дождь - и размытая тушь.

Начинаю бояться. Боюсь.

Я - пластилин. Мне нужен ее запах. Ее боль. Ее мир.

«О чем ты думаешь?»

Я.

Она.

Вишни.

- Обещай!

- Всё?

- Страшно.

- Мне тоже.

- Помоги.

- Не надо.

Она хочет.

Она любит.

Несколько капель.

Если не помогу, она знает, кого просить.

Она решила. Решила.

Не могу. Господи, убей меня. Я не могу. Ее жизнь, ее сны.

Я не могу! Я люблю!

Люблю?

Несколько капель.
«О чем ты думаешь?»
Я не могу. Я НЕ МОГУ!
Соглашаюсь.
Идем к ней. Она достает из внутреннего кармана флакон. Маленький, зеленый. Почти элегантный.
Господи, я не могу!
- Не волнуйся, не больно будет, не волнуйся.
Приносит стакан. Открывает. Капли. Я не хочу смотреть. Не надо!
- Не надо.
- Надо.
- Я люблю тебя.
- Глупо,- прячет глаза.- Помоги.
Я не могу. Не могу. Немогунемогунемо-гуне....
Падаю на пол. Линолеум в крошках. Слезы.
- Истеричка!
Слезы. Слезы и ее коричневая юбка.
Она отсчитывает капли.
- Истеричка и баба!
Встаю. Отряхиваю джинсы. Прижимаю стакан к ее рту. Пьет.
Прикасается дыханием к моему уху:
- Я тоже, я тоже.
Глаза в глаза.
Близко-близко.
Две недоспелые, карие, глянцевые вишни.

Дело Мастера

Безымянный поэт морщился и пытался закурить. Чирк-плюх-«Блять»! Морщился и пытался, пытался и морщился. Пальцы — дрожали, солнце и повывавшая виды локальная слава — закатывались. Навстречу промелькнула девушка, близорукая и немолодая. Поэт поздоровался. Девушка изогнулась. Поэт начал замолаживать, но запутался в половой принадлежности объекта.

Задумался.

Высморкался-вдохнул-прислушался.

«Жизнь удалась!»,— апрельские коты, дворники и критик Защечников были счастливы. Поэт был мучительно трезв, и ему не давали. Точнее, давали, но только сдачу. Или сдачи, что тоже случалось. Последняя муза ушла. Ушла, оставив запах женского белья и раздавленного шоколада. Поэту было грустно. И вдруг (у поэтов всегда случается Вдруг) появилась Она. Она была красива и казалась прозрачной. Прозрачной до лунности. Как утверждают современники, поэт очень любил слово «лунность» и ванильные рога-лики.

Итак Появилась Она.

С этого момента начинается счастье. Счастье длиной в однотомник. Поэт сжался

и выпятил губы. Но Она! она, как всякая баба, не понимала неизбежности чуда.

Она равнодушно разглядывала витрины.

Безымянный Поэт решился.

— Здравствуйте!

Она смерила Поэта взглядом.

— Не правда ли.....

— Правда.

Молчит.

«Издевается, издевается стерва».

—А как вас зовут?

Она улыбнулась.

— Рита.

Поэт явно понял, но попытался скрыть.

— Знаете, я ведь не первый год. То есть, я поэт. Литератор, можно сказать. Пишу. Да нет, вы меня не так поймете. Просто, видите ли, муза. И профиль. У вас удивительный профиль, Рита. И глаза... у вас удивительные глаза. И руки. Я хотел сказать...

— не соглашусь ли я с вами выпить?

Безымянный поэт удовлетворенно кивнул.

Её зеленые, чуть косящие глаза смеялись.

— Нет, к сожалению, нет. Возможно... А, впрочем, прощайте.

И ушла.

Маргарита шла вдоль одинаковых лиц, перебирала желтизну букета и думала, что ей скоро исполнится сорок.

Стигматы

Дай мне руку.

Не бойся.

Ты видишь?

Да нет, присмотришь, это было. Было, как осень или выпитый коньяк.

Полдень. Песок. Небо.

Песок, перемешанный с кровью.

Нет, это волосы. Совсем простые, совсем рыжие.

И плач. Извечный, женский, непричесанный.

Она ловила его руку. Скользила по вдавленным ребрам. Не верила

А он. Он был только мертв. Мертвее, чем его багровевшее покрывало.

Одна. Одна среди веков и фанатиков.

Как?

Как он мог?

«Предал. Предал ведь. Какое мне дело?

Какое мне дело до них? Какое мне дело, если»

Так думала, так шептала.

На незнакомом языке.

На языке, знакомом каждому.

Каждой.

Были, были и другие. Ласкали, слюнявили, задыхались в плечо.

А потом пришел Он. Пришел и отнял.

Пришел, увидел, сохранил.
Одни называли безумным, другие....Но других было мало.
Какие-то женщины с искаженными ртами плевали ему под ноги.
Отговаривали.
Боялась.
Смертельно боялась его подростничной синевы. Синева, которая лилась сквозь.
Убили! Убили! Убили!
Слез не осталось. Только ненависть. Холодная, как бритва в вазелине.
Она ударила его сгибом локтя.
Тело глухо приняло удар.
Она отряхнула колени и подошла к размытому временем, темному персонажу.
— Сколько?
Она отвязала пояс и отсчитала серебро.
Взял.
Значит, его похоронят.
Потом вздрогнула. Рукопись!
Ей пришлось в голову, что пергамент не станет гореть.
Она заплатила еще и попросила переписать.
Темнело.
Синева переходила в сиреневый.
Безымянный кабак.
Две одинаковых фигуры медленно переговаривались.

— Наконец-то.
— Да, станет потише.
— Сколько она дала?
— Уже не помню. Ты ее знаешь?
— Блядь какая-то. Мало ли.
Отхлебывает.
— Сарра, кажется. Или Мария? Помню, что из Магдалы.
— И дорого берет?
— Не особенно.
Небо. Песок. Рыжеволосая женщина.

Вечер. Девушка. Туберкулез

Тебе когда-нибудь выворачивало горло терпкой светло-розовой жижей?
Это когда легкие кажутся разорванными на тысячи бабочек, каждая пытается улететь. Вдох шершавее выдоха из-за треска хлопающих крыльев. Может, хотя бы бронхитом болела? Все равно слушай, потому что — туберкулез. Сначала тебе не больно. Нет. Но он уже внутри. Ест потихоньку, с аппетитом. Он в твоей слюне, в следах помады на любимом-небритой щеке. Ты не бойся. Ты же хотела умереть, не так ли?
Вот.
А потом он становится тобой. Навсегда. Точнее на то всегда, которое тебе осталось.

И когда вы идете вдвоем, на самом деле вас четверо. Внутри его паспорта — «законная» серая мышка, а внутри тебя — маленький черный зверек. Его обнаружат при вскрытии. Туберкулез.

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Так думал Блок в электрическом зареве Петербурга. Так думала неизвестная девушка в городе №. Блоку оставалось 15 лет, девушке оставалось 15 суток. Блок курил и ждал. Девушка откурила и отжала. До того как. Теперь она умирала. Блоку надоело стряхивать пепел. Он взял пролетку и куда-то шепотом направил похмельного извозчика. Девушка тормознула такси, протянула деньги, пыталась что-то сказать, но кашель размазал сказанное.

Бессмысленный и тусклый свет делал грязь антрацитовый. Рядом волной проносился этил, мужские желания, визг, сырость. Оба поморщились. Девушке слышались затертые «винилы», Блоку — пошловатая цыганщина.

Скука.

Рядом сидящий напомнил, что приехали. Обоих передернуло, но, разумеется, вышли.

Живи еще хоть четверть века. Или три четверти. Как рукав. Также бесполезно. Ресторан и полночь. Их время не меняет.

Блок опять курит, трет покрасневшие Сливочная морось висит киселем. Он просмотрел,

когда она вошла. Девушка изучает Блока с интересом. Блок изучает ее черный трикотаж. Его распушенные волосы пахнут, как и положено, ладаном, ее узкие ладони, как и положено, дрожат...

Блок растерян. Она опять исчезла.

Он возвращается к себе. Рифмует, не спит, плачет. Феньки ему кажутся кольцами, синтетическое платье—упругими шелками. Бумага становится Блоком. Тогда он выводит 24 апр. 1906 и засыпает.

Все будет так. Исхода нет.

Кто-то вызвал неотложку. Белая машина. Белый платок. Красный перекресток. Красная кровь. Умный доктор долго шарит ее тело. Какие-то провода. Плачущая соседка. Нательный крест пошлют матери. Волосы, карболка.

Где ключ от ее квартиры?

Скука.

Туберкулез.

Она не дышит. Не бойся. Еще целых 14 минут. И Блок. И незнакомка. И долгие-долгие невские сумерки. Не спрашивай, я ничего не помню. Нет, это не димедрол. Все это будет. Потом. Вчера

2004, зима

Тринадцать минут из жизни ТоТоРо

Д.Д.

Любофъ.

Все.

Точка.

Нет.

Нет меня больше. Есть только долгое-долгое
Л. С твердым знаком, с кровью в сердце, с
теплым запахом под ногтями.

Это она. Это — она?

А что если никогда, никогда не будет, ни зав-
тра, ни вчера.

Ни глаз, узких, как прорезь вдоль вены.

Ни губ, ни голоса, ни даже формы ноздрей,
подозрительно изогнутых.

Проснусь, заплачу, мокрыми ладошками на-
крыв лицо...

Но пока что шепотом в ухо — «моё».

Моё.

Совсем моё.

Нет!

Совсем — его.

Он не появился, точнее, он не появлялся, он
вкатился в меня, как тоторо.

Пушистый, белокожий, со шрамом вдоль
живота.

И вкус такой же.

Это Он. Это — он?

А был ли?
Может, это просто песок по пальцам?
Подходит, в плечо зубами, руку в руку.
Дура!
Этого не бывает! Не бывает совершеннолет-
них тотор!
А он, он почему-то — есть.
И когда я дрожу всем, что есть во мне жен-
ского, он — умирает.
И когда я убиваю себя, он — болит.
Вот.
Посмотрел в экран, довольно и хитро сож-
мурился.

To

To

Ро!

И не поймешь, кто из нас псих.
А когда он спит, мне снятся цветные полосы.
Семь.
Потому что весь он — радуга.
Потому что — до него — дождь. Темный, как
туча над Иерусалимом.
Потому что — без него — дождь. Пустой, как
Ялта в январе.
Потому что – ToToРо.

2005, зима.

Ненависть через @

Д.Д.

На моей руке 14 черточек.

Горизонтальных, наклонных, пунктирных.

Я никогда не умела готовить. Потому и ножом править не умею.

Знаете, такой, с белой ручкой и плохой сталью.

Господи, я столько плела про всевозможную любовьность, что Ненависть успела заскучать.

Нет, вернее будет: нен@висть.

Меня учили.

Долго и бессистемно.

Всему, но не Ей. Её я изучила сама. Какие приметы? Вот они, уважаемая публика.

Глаза. Глаза — это главнее остального. Попробуйте их сделать прозрачными, прозрачными настолько, чтоб виден был стержень головного мозга. Конечно, иногда стеклянные тоже подойдут, но только для самых невзыскательных и обязательно с двумя -нн-. Не дай-то бог, с одним! Иначе поймут, _как_ вы на самом деле любите.

Потом необходимо вспомнить о губах. Губы, они должны быть презрительными, дабы и зрителю, и надзирателям стало холодно.

Нен@висть изучена плохо, любая

оплошность приведет к обратному результату.

Потом... Да что я все о «потом»!

Гораздо полезней — о «сейчас».

А сейчас я сижу на ковре и царапаю вены.

Потому что резать не научилась. Потому что

больно, а я упрямая. Вот. А рядом сидит он.

И глаза у него пытаются стекленеть. Пы-

таются, но продолжают плакать. Он щелкает

мимо клавиш и любит меня. А я сижу на

ковре и царапаю вены.

Мы — говорим:

— обо всём (будто оно имеет значение),

— о нас (будто мы знаем себя)

— о них (будто они стоят того).

Мы — оба — любим. Потому и учимся ненавидеть.

Должна признать, мы внимательны до отчаян-

ности. Замечаем все трещинки и подсчитываем

все выпавшие слезинки. Увы! Мы так и

не освоим материала. И до конца чьих-ни-

будь дней пробудем в Великом Неведении.

Но есть же — избранные?!

Иные?!

Прочие?!

Те, кому и учиться не надо?!

Те, которые научились разделять ненависть и

нен@висть, переплыли четыре моря и выу-

чили, что счет в Национальном банке важ-

нее каких-нибудь там любовей?!

Я верю: они есть. Может быть, они есть даже во мне. Я тоже обязательно пойму, вырасту, исправлюсь. Заведу окна с рюшами и гололед в предсердиях. Я — обязательно! Я?! Но пока я сижу, царапаюсь, плачу. И он плачет, но уже не в ресницы, а прямо на мои колени. Я обжимаю ладонями его затылок, как «витую пару».

Дальше — что-то совсем личное.

Я — в кроссовках и на кровати. А он целует выемки моего предплечья. И я его Лю. Но это опять про Это, а это Это так мною оговорено, что просто стыдно.

Вроде бы и все, и ненависть-недоучка приравнена чему следует (еще два поцелуя), и ссора, и слезы («не надо, я же работаю»), и мир, и даже немного эротики за кадром. Но! Женщины это читать не станут! Зачем им — читать?!

Мужчины? — Уважаемая публика! Нельзя быть такой наивной! — Для чего мужчинам женские сопли, розовые и нестесняемые?!

Итак, вывод:

ЭТО ЧИТАТЬ НЕ БУДУТ.

Значит...

— Ты будешь завтракать?

— Да, уже заканчиваю.

— И я там есть?

(Пытается подглядывать)

— Напечатают — узнаешь.

16.06.2005

Летосам

Человек был маленького роста.

Его правый глаз отражался в левом.

Его все жалели.

И самое странное — никто не знал, что он придумал летосам. Летосам — это почти самолет, но только в обратную сторону.

Вот.

И всё было хорошо. Некрасивый человек жил, ел борщ, придумывал друга летосаму.

Но появилась она и все испортила. То есть однажды, пока Человек спал, она тихонько вошла, положила голову ему на колени и замурчала.

Глупый, глупый Человек!

Он — обрадовался.

Она была маленькая, умненькая, круглая.

Горе началось с занавесок.

Она пришла, размахивая фиолетовым рулончиком тюля.

Она попросила вытереть пыль и не бить чашки.

Она приобрела ему мобильный телефон.

Он подумал, что это счастье.

К сожалению, это был брак.
Человек стал чистым и больше не придумывал летосамов.
Говорят, он работает в банке или на консервном заводе.
Говорят, у него уже двое маленьких мурок.
Мало ли что говорят!
Но мы-то с вами знаем.
Знаем.
Каждую ночь, когда круглая и мягкая спит, он выходит на балкон, пьет холодный воздух, быстро-быстро двигает руками.
Раз.
Два.
Три.
Он закрывает глаза, но ничего не придумывается. Он малодушно смотрит вниз.
Плюет.
Вспоминает про квартальный отчет.
Возвращается в кровать.
И думает, что летосама просто не было.

2005, осень

Alter-НА (т) ИВ

(роман в трех страницах)

Предисловия не будет!

Автор — подлец, подслушавший и подсмотревший. Нет, не в замочную скважину, а в честное лицо чужого монитора. Автор не имеет никаких прав и потому совершенно не догадывается, чем все это кончится.

И, наконец, им, в здравом уме и в доброй памяти, Нераз была нарушена священная тайна переписки.

Исходя из всего вышесказанного, автор заочно приговаривается к высшей мере.

Аминь.

.....
13.01.2005.

Здравствуй, Макс.

«Я очень устала...»

Жизнерадостное начало, не правда ли?

Я соврала, когда сказала, что не изменилась. Я — состарилась. Знаешь, морщины изнутри куда больше...Я рада, что ты счастлив. Ты — человек с оголенной сердцевиной, поэтому тебе совершенно необходима семья.

Что касается меня, то тут ничего интересного.

Пишу.

Недавно обручилась.

Замужество?... Но что может быть глупее свадьбы? Тем более, для меня.

То, что хочу тебя видеть, правда. Зачем, откровенно не знаю.

Возможно, это начинающаяся шизофрения.

Если хочешь, ответь...

Нет! Знаю!

Хочу видеть, потому что

а) рыжий-рыжий;

б) талантливый сверх меры (прямо как я ☹)

Прощай.

.....

14.01.2005.

Я не мог бы тебе не ответить. Не мог бы тебе не ответить. Знаешь, если бы у меня была идея – написать что-то большое – роман с героем и героиней – как у Бальзака. Ты могла бы быть героиней, но такой героиней, к которой не может быть героя. Для меня ты всегда останешься чем-то несколько приоткрывающим завесу более близкого, родного, более моего, чем всё остальное, холодное и немое и будничное, надоевшее до ужаса и оставшееся во всём. Встретимся, обязательно встретимся, ведь по-другому быть не может, и – все равно наши пути будут пересекаться – думаю, это так. Должно, я тоже постарел. Я тоже утратил способность просто летать – не задумываться, и, казалось,

я знаю, что такое быть. И что такое эта старость – живущая где-то в венах, в крови где-то живущая и огромная как бессонница, в которой всё так мерзко, что хочется ковырять себя чем-то острым, чтобы не слушать собственных мыслей. Сплошная ночь – даже днём – в которой всё как-то увеличено и реально до невозможности. Эта бессонница и жажда, не жизни, не литературы – а подлинности, естественности, ненаигранности и чего-то такого людского, о чём, казалось, можно говорить только шёпотом. Женя, не знаю даже что говорить, как думать – это ведь Он, тебе ведь раньше казалось, что это Он. И что с Ним – это всё, и вся ты — это нечто покорённое, принадлежащее, зависящее от него. Но Ты не можешь быть покорной. Тебе нельзя жениться. Тебя за всё нужно прощать, абсолютно за всё, за все падения – которые на самом деле являются просто частью тебя. Женя, или прими – и уживись или – отвергни. Если ты примешь, то это жертва. Жертва всей твоей минувшей жизни и всей тебя для Него. Это разделение его мыслей, его чувств, его увлечений. Это постоянное терпение (минимум!). Женечка, Женя, это ЭТО так сложно на самом деле. Для этого надо просто очень сильно любить – любить, зная, что не существует отдельной тебя, а только Ты и Он. К чёрту всё это. Это ведь в идеале всё.

Так ведь в книгах только, а мы не дышим книгами. Давай встретимся. Хочу видеть. Хочу посмотреть. Кажется – не расставались даже — и кажется – даже не внешность – талант, а остальное такая мелочь! Кажется – не изменилось ничего, а просто, просто мы снова встретимся как поэт и поэт. Макс.

.....
Героиня пролистала строчки, прокусила ненакрашенную губу, задохнулась. Набрала воздух. Медленно, но неуверенно прочитала.... Выдохнула. Открыла девственно чистый «Документ Microsoft Word» и написала стих.

.....
Когда вы,
красивый и тонкий,
играете сердцем в «кубики»,
я — вся!— превращаюсь в обломки
древнее
Римской республики.

Когда вы,
бессильный и слабый,
хотите со мною расстаться,
Я чувствую смерти лапы,
как чувствовал рифму Надсон.

Опять — чем больней, тем звонче.
Опять — по бедро — в болоте.
Мы будто бы Пара Гончих
на сверхзвуковой охоте.

.....
Героине стих не понравился. Она посчитала количество слогов и с неприязнью убедилась, что ритм соскальзывает. Помучила немного «Буфер обмена». Ритм упрявился. Героиня, оправдывая свое наименование, «выделила все» и нещадно «вырезала».
.....

17.01.2005.

Я.

Как странно звучит это слово!

Звучит, как начало стиха...

Начинаю тебе писать, а слова сами собой попадают в ритм. Мне кажется это похоже на состояние кататонии, когда все тело сводит единой судорогой.

Ты! А какой ты?

Было, когда казался слабым, было, когда казался пророком.... А теперь? Мы оба слегка постарели и должны были б поуменьть. Но разве поэты могут умнеть? Разве они это умеют? Мы обязаны с подлинной наивностью наткаться на несуществующие стены, и удивляться, и пытаться прошибить. Если не так — значит, не Поэт, а литератор-rrrrrrrrrr!

Как кошка, нет, как детеныш рыси. Рычу на весь мир и не понимаю, что сама-то уместаюсь на ладони. А еще я не понимаю себя. Я счастлива только в запредельном состоянии (грозы, ливня, отпущенного на свободу напалма). Чем больше, тем звонче. Помнишь? Вот. Но зато когда и золы не остается, мне нужен вполне земной Спаситель. Опасная Глупость, не правда ли?

Наверно, ты пытаешься вдуматься, и потому удвоенно вглядываешься в экран, слегка ероша свои недопричесанные пряди. Жаль, что они теперь так коротки. Знаешь, если б роман писала, я б сделала тебя немного похожим на Митю — твоей особенной, впечатлительной раздвоенностью, такой же, как и у Бунина — и на полковника Аурелиано — не знаю, кстати, почему. И обязательно была бы героиня, тебя нужна Героиня. И весь-то ты, тонкий и немного нервный, был бы Гением каждой своей молекулой.

Забавно, Макс, забавно и грустно.

Мы не расставались. Мы не могли бы. И не только не внешность, но даже и не талант. Мы — перекресток. Перекресток из двух перекладин креста.

Может, это говорю не я, а мои 37,7. Но ты, ты — поймешь, и потому ответишь.

Женя.

.....

Что ответил ей Герой? Этого автор не знает.
Наверно... Но какое здесь может быть «на-
верно»!

Итак, поступки и мысли Героя автору неиз-
вестны.

Но Героиня...

Героиня ждала. Ждала и...

.....
Мертвая ночь, как скелет ископаемых,
вдруг завертелась, забилась, задергалась.
Месяц упал.

И с улыбкою Каина
начал разглядывать неба потертости.

Кто-то кому-то молился по памяти,
шлялись архангелы с видом уборщицы...

Месяц споткнулся и выпалил:

«Знаете,
весь этот бред НИКОГДА не кончится!»

Я же молчала.

Влюбленная самая,
выбила звездами два предложения:

— Ты позвонил!

Начинаются заново
старого сердца простые движения!»

.....
Пока Героиня ждала, пришел неизвестный
ей Некто. Некто приходился автору зазно-
бой, то ли бывшей, то ли будущей.

Он сурово просмотрел шпионеренную автором переписку и посоветовал поиметь совесть. Автор согласился — тем более что совесть ему приходилось иметь регулярно — и попробовал заняться сочинительством.

.....
Повесть о нестоящем человеке

Человек действительно не стоял.

Он покачивался, просвечивался и отражал.

Первым его обнаружила я.

Но промолчала. Из природной застенчивости.

Потом его заметили остальные. Заметили и начали бить. Не за что-то, а для компенсации. Согласитесь, неприятно, когда тебя отражают.

А еще он любил. Не то чтобы очень, но все-таки меня.

Он приходил по утрам и заценивал свои новые трещинки. Я восхищалась — им, он — собой. Мы были счастливы. Пока он не начал умнеть.

Умнел он со вкусом, постепенно и расчетливо.

Сначала он постригся. Да-да. Он остриг свои лучистые, 925 пробы волосы.

А потом он женился. Или наоборот. Я точно не помню.

Из ночи в ночь, из суток в сутки он начал

тускнеть.

Так и тускнел, пока не исчез...

Я... а я проплакала подряд три страницы и начала искать того, кто еще не разучился Отражать.

январь 2005